

2000

Снилось, что сошел с ума, долго ходил по какому-то помещению, швырял предметы, плакал, рыдал в голос — люди, знакомые люди отворачивались, стыдились меня. Потом извинялся почему-то перед мамой — все удивляются, что я помню ее лицо, почему за тридцать лет не истаяло, не исчезло, но оно становится только отчетливее, приобретает мои некрасивые, но определенные черты — она стояла мрачная, и я понимал, что дело не в извинениях, хотя, конечно, можно попросить прощения, — а в том, что я сошел с ума навсегда и неясно, как теперь быть со мной: запереть дома, как чудовище, как больное животное, которому к людям нельзя? Или отпустить, чтобы разнес к черту мир, который не нравился и ей, который ее тоже довел? Ведь так и не узнал, почему она прыгнула.

Потом понял, что во сне она была не мертвая, как будто и не было балкона никогда.

Пять лет не приближался к лагерю, поляне, Кадошскому маяку, ручью нашему, но однажды не выдержал, возвращаясь домой откуда-то, — нарочно сошел на остановку раньше и скользнул взглядом вдоль ручья: конечно, они там.

Ребята, низко наклоняясь, поднимают камешки со дна ручья, сначала сами придирчиво рассматривают, проверяя что-то, а потом несут ему.

Он стоит по колено в воде — не холодно? Раньше нельзя было переохладиться. Берет в ладони принесенные детьми камни. Потом ударяет камешки один о другой — выходит музыка.

Он и мне показывал.

Можно несколько октав выложить, говорит он, и вот так бьешь слегка, тихонечко — получается нота.

Не слегка, блин, вовсе даже не слегка, что ты говоришь такое — некоторые камни нужно бить резко, горько, потому что иначе они не зазвучат, они капризные; а некоторые — нежные, с ними нужно ласково, тонкими женскими пальчиками: поглаживаешь больше, не бьешь.

Ну?

Почему ты им не скажешь?

Или все забыл, все забыл без меня?

ВОВСЕ ДАЖЕ НЕ СЛЕГКА, ДА?

НАОТМАШЬ.

ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ?

Меня слушают камни, начинают мелодию.

Ручей струится.

Музыка бежит.

Камни поют.

— Видите, — с удовольствием говорит Лис, — нас и прохожий остановился послушать.

Прохожий?

Но ведь нет никого, мало кто решится от дороги выйти к ручью, или —

Или это я прохожий, незнакомый прохожий?

Оглянись, незнакомый прохожий.

Ты видишь, что у меня тоже отросла короткая борода — как и у тебя в лучшее, прошедшее время, потому

что в нашу последнюю встречу ты был гладко выбритым, даже с заметными ранками от неосторожного лезвия, что все больше выдавало того, кто редко бреется: руки не привыкли к упругим, плотным движениям.

В твоих волосах теперь больше седого, чем рыжего, — седина и раньше была, я просто не думал, что так —

Но прохожий не пойдет своей дорогой, я много всего передумал, пока камни слушал. Ну, ударь еще раз. Сделай так, чтобы горные отроги откликнулись звоном, малым квартсекстаккордом.

— О, так это знакомые лица, — скучным, неинтересным голосом говорит он. — Ребята, поздоровайтесь с дядей.

Хором, нестройно: здравствуйте, здравствуйте.

Привет, отзываюсь хрипло — не серебряный колокольчик, посадил сильно со своими интернатскими, про хламидомонаду рассказывая. Не понимаю, отчего смеются.

Понимаю, почему смеются.

— Какими судьбами здесь?

— Да вот. — И ненавижу себя за неуверенный голос, за грязноватые джинсы, за мятую рубашку с коротким рукавом, а ведь должен был принцем появиться, красавцем, доктором наук, знаменитым певцом, а кто на самом деле? кем спустился от остановки? жалким, жалким.

И всегда только жалость вызывал — у Наташи, у него, у Маши, у Дани, у Айтугана, у семьи Бялых, у Марии Семеновны, у дочки даже, у Женьки, хотя ей-то, ей-то что?

— Проходил мимо, решил зайти? Да? — спокойно продолжает Лис.

У него изменилось лицо — набрякли мешки под глазами, будто не спал долго-долго, кожа загорела неровно, нос облупился, на щеках выступили коричневые веснушки, которые только у стариков бывают. Но на старика не сделался похожим, нет-нет.

Но только что спасло, что понравилось, что зацепило — он все еще с ними сам, один, хотя и не так рассказывает, как раньше, а все равно в воде стоит, все равно детишки вокруг — веночком.

— Да. Можно сказать — соскучился.

И всю злость, и всю радость, и всю зазвеневшую новую весну — в глаза, в улыбку. Странно, что узнал вообще, что не стал дальше как о *прохожем* говорить.

— Тогда — добро пожаловать. Иди за мной.

— Я помню дорогу.

— Нет, не помнишь, мы тут всё немного поменяли... Иди давай.

Лагерь сделался немногочисленным, каким-то непривычно тихим. Палатки стоят, костров не видно.

— В этом году запретили разводить, только спиртовки. Спиртовки есть, всё есть. Ребят меньше, да. Мне почти пятьдесят лет, Лешка.

Лешк.

Лешк.

Ле

Ударило в сердце, разорвалось, болью отозвалось, вспыхнуло и погасло.

Нет

Нет

Только не снова

Только не свет в глаза

Почему воздух холодный и теплый, сразу холодный и теплый, словно его подают по двум тоненьким проводкам прямо в горло?

Теперь холодный, один холодный остался

Нет

Лешка.

Лешка.

Алексей.

Просыпайся, хватит.

Это кто?
Это меня?

*

Маша, милая,
прости, что это перед самым Новым годом происходит, но ведь ты, я уверен, и без меня выслушаешь то, что хочет сказать Генеральный секретарь, а он хочет сказать совершенно привычные, повторяющиеся каждый год вещи, а потом заиграет песня — вот тут на самом деле неясно какая, потому что «Надежда — мой компас земной» не прошла проверку цензорского комитета, и мы никогда не поймем почему. Потому что там о доме поется? Да, верно, о доме, и я бы так хотел, чтобы для нас, чтобы и у нас был дом; но никогда не было.

Прости, что не было.

Прости, что не было ничегошеньки, ни дома, ни сада, ни — чего я там еще хотел, сына?

Какая глупость, зачем мне сын, я бы с ним не справился, не смог придумать никаких мужских общих правильных дел вроде рыбалки, обыкновеннейшего похода с палатками — и это я-то, который должен бы знать все о таких походах, — но только больше плакал бы, не ходил.

Дома не было.

хотя есть и квартира, и даже было такое, где чувствовал себя —

тебя очень любил, раньше тебя любил, но знаешь как хотелось любить и дальше. Думаю, что дело в препаратах, думал, что дело в препаратах, но на самом деле мне давно отменили аминазин, поэтому нельзя во всем винить его. Утешали, что после отмены пройдет. И женская эта грудь наметившаяся уйдет, и полнота. Ничего не ушло, уходить не собирается. Но сейчас не об этом, хотя, конечно, страшно жирный сделался, на меня неприятно смотреть. Не говори, что ничего, что ничего не замечала, привыкла.

Невозможно не заметить. Джинсы треснули под коленками — это как?

Футболка задралась на животе, обнажив багрово-синюшные растяжки, — это как?

Тебе никак, то есть делаешь вид, что все равно, что не брезгуешь.

А я брезгую собой.

Но что я хотел бы на самом деле сказать — но то, что люблю, все равно выношу в начало, в самую первую строчку. Но дело все в том, что я люблю не только тебя. Звучит невероятно глупо. Как будто у меня есть другая женщина, как будто это вообще возможно. В моем случае нет, совсем, не из-за физической немоци. Может быть, из-за него, из-за Алексея Георгиевича. Ты просила меня забыть о нем, и я клялся, что забыл, но только я проклятый лгун был.

Когда мы познакомились? Мне было четырнадцать лет. Мама выпрыгнула из окна, когда мне было шесть. Только не думай, пожалуйста, что это у нас семейное, потому что я — по своим, особым обстоятельствам. И не из-за него, нет, конечно.

Мне было четырнадцать лет, потом почти сразу исполнилось пятнадцать, так незаметно прошло время. Ему — тридцать. Так вот, Маша: я любил его, дорогая Маша, что еще могу сказать?

Я любил его, и мне было четырнадцать лет. Он был мой учитель. Я его помню, а ты не знаешь, что такое помнить, — ты даже имена своих родителей все время забываешь, потому что они забытые, о них написано только в одном особом документе. Я случайно узнал, что такой документ существует, — не узнал даже, а вычислил, потому что он непременно должен существовать, реестр забытых, потому что как иначе вести учет?

Ничего особенного в том документе нет, только имя, год и место рождения — если, допустим, сын или дочь забытого захочет что-то сделать такое, для чего потребуются имена

родителей. Вряд ли это важно сейчас, конечно. Мало где требуются имена. И я всегда радовался — счастье еще, что к Маше, как к дочери *забытых*, не применялись никакие санкции, мы просто жили, просто поженились. Раньше, говорят, высылали, запрещали жить в столицах. Давно это было, а сейчас время стало милосерднее, справедливее.

Маша забыла, Маша не помнит свое отчество, а я почему-то — помню всегда, значит ли это, что на меня эта новая машина, этот *Читатель*, не действует?

И зачем пишу про *реестр*, разве это по-настоящему важно?

Отодвигаю записку на край стола. Думал — действительно записка будет, а выходит письмо, длинное, жалостливое.

Когда проявился диабет — подумал, что все на этом, что привычная жизнь закончилась. Но потом врач объяснила — все хорошо у тебя, мужик, живи дальше. Диета. Физические нагрузки. Клетчатка. Избегать чрезмерной *инсоляции* — пришлось в словаре искать слово, но только не было смысла: это когда я в последний раз загорал, смешно. На Лыткаринский карьер ездил, это если из недавнего вспоминать. Маше на даче помогал. О, ежевика, кисло-сладкая ягода, плотно спаянные с мякотью косточки, что так неприятно чувствуются на языке, — сколько обрывал соседскую, запущенную и разросшуюся, тянущуюся сквозь забор, а своей не завел. У нас только смородина, а я ненавижу ее запах. Пережил, думал, что и остальное переживу. Маше хотелось приезжать каждые выходные, оставаться с ночевкой, а это значит — везти много еды, макароны, подсолнечное масло в пластиковых бутылках, «Золотая семечка», ох уж эта «Золотая семечка», сковородки, стаканы, матрасы, дачную одежду, которой столько накопилось, что ящики шкафа не закрываются нормально, приходится силой, а обратно никакой силы не хватает. Видел уже, как сидим среди пенсионеров и немолдых женщин, сидим на влажном дерматине, которым

обиты лавочки в электричках, и сильно пахнет гарью — горят торфяники в Шатуре, горят, сколько помню себя.

И запах смородины.

Он и сейчас вспыхивает, хотя открыта форточка, а там зима, конец скучного темного года без вкуса и запаха. Раньше что-то чувствовалось — деревянные лопаты дворников, убирающих снег, реагент на льду, какой-то особый колючий воздух, сухой горячий ветер метрополитена, такой разный: плотный и неприятно сухой в дверях, холодный, пронизывающий или *никакой* — в туннелях. Сейчас чувствовать перестал, хоть полностью высунься, хоть склонись над балконными перилами. *Почему мы не можем застеклить балкон*, говорила Маша, посмотри — *мы же одни как не знаю кто живем, как раньше, как неблагополучные какие*. *Нельзя*, говорил и повторял терпеливо всякий раз, потому что иначе как я буду курить, облакачиваясь на перила? Никак не выйдет. Стекланный колпак ведь какой-то выйдет, колбочка, реторта.

И не делал, оправдывался.

Денег тоже не было, конечно. Сколько стоит сейчас застеклить балкон?

Остекление балконов под ключ балконы и лоджии без металлоконструкций в Москве по выгодной цене недорогое остекление балконов балконы с утеплением и отделкой —

И вот дальше никогда не шел, останавливался.

С утеплением и отделкой —

Что сделалось так тепло, так покойно, что представить себе не мог.

Но только чтобы закрыться, самому заключить себя в стекло, в пластик — о, ежевика, твой колючий вкус, если снова придется ехать на дачу с Машей, вообще ничего делать больше не буду, в дом не войду, не наполню ведра и лейки водой, а только пойду по тропинке вдоль соседнего заброшенного участка, стану срывать с кустов, пробовать, разгрызать, чтобы к своей смородине не возвращаться. Она еще красноватая, незрелая, не так сильно пахнет, но когда начнет —

Хорошо, не сейчас. Сейчас она под снегом стоит, все под снегом, и я —

Опираюсь на разошедшиеся перила. Они для того нужны. Сильно, сильнее. Если усилить нажатие, выступит кровь — в самый раз рука на ржавой шляпке гвоздя лежит.

Еще больнее, еще сильнее.

Еще.

Звук — тырр-ррры, такой звук, никакой не звон, который сам отключил, остался только тырр-рры, от которого и приятно, но только не теперь.

Леша я буду через пятнадцать минут

Маша теперь пишет когда — это потому, что врач просил не оставлять надолго, но что такое *надолго*? Чтобы я видел какой-то обозримый период времени, чтобы понимал. С той поры и началось *Леша я буду через два часа десять минут* *Леша я буду через сорок пять минут через полчаса буду* *Леша через три минуты поднимаюсь бегу*

Маша не поднимается, конечно, — на девятый далеко бы пришлось. Да и лифт, кажется, едет не три минуты, а много дольше. Но никогда не капризничал, не возмущался, даже если она опаздывала. Не все так плохо, да и боль поддерживает, помогает. Я же не ребенок, ну. Я могу сам, могу сам за себя.

Если захочу, то смогу даже и вниз не смотреть.

Леш, может быть, ты будешь курить в квартире?

Пятнадцать лет было нельзя, двадцать лет было нельзя — у нас чистые, розовато-белые обои, не как у моих курящих приятелей. Чистота. Я выхожу в подъезд, выхожу на балкон. Не стану курить дома только *поэтому*. И сама не знаешь, что предлагаешь, Маш, — так любишь, чтобы было красиво, пылесосом проходишься каждый день, через день. И тогда скоро аккуратно дала мне тряпку — разрезанную на несколько частей мою некогда белую футболку, не иначе как тоже врач велел. Должно быть занятие, трудотерапия, не знаю.

И я мыл пол, и мыл балкон.

Через пятнадцать — значит, осталось десять.

Маша будет через десять минут.

И я мыл пол.

И пахло смородиной.

Зимой вечно невыносимо пахнет смородиной. Смердит смородиной. Смеркается.

У меня осталось десять минут до Маши, потому что она зайдет с полными пакетами из продуктового — сделала все, чтобы они полными были, вот только я ничего; будет предлагать глазированные сырки и сладкий малиновый йогурт, хотя за последние два года я сильно, безобразно поправился. Раз взвесился у соседки смеха ради — сто пять килограммов, а раньше восемьдесят было, а в двадцать лет, может, и семьдесят, тогда не взвешивался, не было привычки. Может, из-за этого веса Маша и уговорила показаться терапевту, потом эндокринологу. И обнаружилось. Потому что диабет — подлый такой, коварный: болеешь, не замечаешь, а он тихонечко подтачивает, подтачивает изнутри, разъедает глаза, сосуды. Я так себе представляю. И то — я высокий, крепкий, спокойный, а в кого превратился?

Ну что же ты, а.

Крепкий.

Наверное, так легче будет — если вначале свеситься вниз, да, сильно-сильно, вот так.

Кружится голова. Может быть, и зря не застеклили — сей-час бы оставил записку, что хочу окна помыть; вот бы и вышло. Мыл, наклонился неловко. Тут движения одного достаточно, в самый раз будет.

Никогда не мыл окон, разве только смотрел, как мама —

Как мама мыла раму, и чем закончилось?

Нелепо. Никто не пишет в записке, что собирается мыть окна, Маша сразу поймет. А Женька, может быть, даже и не приедет. В трубку посочувствует. И ей подружки скажут — у тебя умер отец, так рано, ну надо же, несчастный случай, грустно-то как. И ни слезинки.

Может быть, неправильно представляю.

И когда я тушу свою переваливаю через перила балкона, понимаю, что совсем не задержусь, не повисну на руках, что так мне и надо, — в квартиру заходит Маша и пакет шелестит в ее руках.

Я не могу писать, продолжаю проговаривать про себя то, что могло быть продолжением записки, и это не простипростипрости:

Надеюсь, что будет не слишком грустно, потому что каждому понятно — и врачу, и всем, что я никогда не буду прежним Лешей, а останусь только бессмысленной тушей, не способной ни к музыке, ни к путешествиям.

Маш, Алексей Георгиевич не должен был от нас уезжать. Это же и его дом был.

Как же я его не защитил? Я ведь всегда был сильнее — а теперь почему-то нет. И если ты нашла это, если прочитала, то знай, что я уже —

Но вообще-то об этом сложно, невероятно сложно, поэтому лучше просто ответь сейчас на вопрос, даже если я не услышу, даже если в мои разбившиеся, закатившиеся глаза заглянет фельдшер скорой помощи, но ты все равно скажи: правда же, что это не я виноват?

Правда?

Правда, говорит Маша и плачет надо мной.

1979

Лешка, там к тебе дядька пришел, сказали, выкрикнули с завистью.

— Не х тебе, — поправляет Наташка, нянечка, — не тока ж к Лиешке пришли, а и ко всем. Он-то завсехда говорит, что ко всем.

— Да ну его. Видать же, что этот, как его, бля, дядечка-то только Леху любит. Сладкое таскает, как девке.

— Какое еще вам *бля*, вот я воспитателю рассказую, — ворчит Наташка, но никто не верит, не *расскажется*, не из таких.

Пацаны переглядываются, ржут, Наташка вздыхает: чехо ржете, охloedы, сами над собою, да? А дядьку ждал, думал, заберет, каждую субботу думал, что заберет. И с каждой неделей пацаны все меньше смеялись, все меньше завидовали, даже сочувствовали немного по-своему, понимая, что уже никогда.

Кто тебя заберет, Лешка-Лысый, кто? Ты ж гонорейный, вот ты кто.

Вот ты кто, хотя Наташа не дразнила, утешала даже.

Гонорейным стал из-за этих прыщиков возле рта и на руках, но только они получаются, *высыпают* как — если нервничаю, если не сплю, а смотрю над собой в темноту и всякое представляю, если драться нужно, а если бы о маме хоть чуть-чуть подумал, хоть секундочку, то обсыпало бы всего как пить дать, живого места бы не было, весь в этой проклятой *парше*, в *гонорее*. Это Мишка придумал, что гонорея, он говорил — *гонорея*, это с его губ такое слово первым сорвалось. Срывались и похуже. У нас у всех были худшие слова.

И ведь только в тринадцать лет *гонорея* вылезла, раньше не было, гладкая кожа — так, может, чирей какой изредка. Наташка тайком из дома какое-то вонючее масло приносит, говорит, надо на ночь втирать, да не просто так, а с молитвой, — но только ж не помогает ни хрена. Может быть, оттого, что я все время стесняюсь и забываю про молитву? *Коль бы чиста казанская медь, толь бы чист был раб Божий Алексей. Сойди свороба и чесота, вся байняя нечисть окаянная, вереда вся. Аминь.*

Простая вроде молитва, а не запомнишь — и отчего-то непременно нужно было странно коверкать имя,

переставлять ударение, иначе не подействует. Если *аминь* не скажешь — тоже.

Так-то бы мог, ну если надо. Просто все никак не могу спросить — надо ли непременно вслух? Потому что если вслух, то не выйдет. Нас в спальне шестнадцать парней, и если ты что-то такое забормочешь — с койки скинут, по сопатке врежут, мочой обольют. У нас было, они могут. Не со мной, с другим пареньком, новеньким, что помладше. Но только после того случая я не стал бояться, а решил, *что* буду делать. Вот что: встану и начну бить, махать руками, сжатыми кулаками, все равно кого, просто кого достану, такой злой буду, как маленькое животное. Однажды видел по телевизору мелкого коричневого зверька, что дерется с яростью и отчаянием, — не запомнил только, как он называется, что-то вроде медведя, но с вытянутой крысиной мордой. И вот решил, что тоже буду таким зверьком, а остальные чувствовали, не подходили.

В мае в интернат пришли люди из Дома пионеров, рассказывали про кружки, кукольный театр, танцы, авиамоделирование. Они прямо с куклами заявили, такими размалеванными и смешными, но хорошими, а ребята поскучали над ними, попереглядывались, пальчиками потыкали, одну даже сломали. Вот директриса выла! А они, эти, из Дома пионеров которые, ничего, стерпели.

Картинки показывали, приглашали. Те, кому четырнадцать уже исполнилось, могли и сами ходить на кружки, вот и решили звать. Воспитатели встали за нами, руки на груди сложили, а больше никого не было, ни учителей, ни нянечки, ни повара, — поэтому Наташка, например, не сразу увидела тогда Алексея Георгиевича, поэтому долго повторяла, что он, может, меня заберет. Она думала, что он взрослый, а он — взрослый, конечно, но неправильный взрослый.

Он сказал, что тоже не знает, как называется зверек, но мы можем попробовать найти.

Я инструктор по туризму, сказал он воспитателям.

Будем ходить по долам, по горам.

Как же не знаешь, как называется зверек? Раз инструктор по туризму. Непременно должен знать. Но я не обиделся, задумался. Может, самому нужно узнать. Может, судьба мне найти такого юркого злого зверька.

А вот тот человек, который про этих животных рассказывает и знает, — кажется, уже всех нашел, даже дальневосточного журавля. Вот он стоит, а за ним кто-то поднимается, что-то происходит, шелестит сухая трава. И голос его вкрадчивый, парни ржут, а мне нравится. Так вот, когда Алексей Георгиевич впервые пришел, он мне на этого из передачи похожим показался. Не лицом, не голосом. Другим, неуловимым.

Подмигнул нам, а показалось — мне. По долам, по горам. Разве отпустят? А потом началось: Лиешка, тут к тебе дядька пришел, давай вылезай. И не сообразил ведь сразу, что он тоже — Леша, раз Алексей Георгиевич; наверное, потому, что на самом деле не Леша никакой, его так никогда не звали, а сам не представлялся. Только в первый раз, среди всех стоя в большой комнате перед выключенным телевизором и диванами, на которых расселись мы, — и потом, много лет спустя, когда я стал видеть это *Алексей Георгиевич* везде — в газетах, в интервью, рассказах каких-то смутно знакомых людей, что сами не присутствовали, но теперь-то *имели мнение и выражали его*. Упоминания, обещания в глаза лезли, кололи.

— Ждешь дядьку-то? Он, ховор'ят, и на ынструменте играть может. На хитаре, што ль? Ну так пушай играет, тебя это, мож, развеселит. А то ходишь смурной.

Говорит Наташка. Остальные отсмеялись, отстали.

— Нет, а чего? Не знаю.

— Ничего не знаете, что за народ такой? Бехи, встречай.

— Да ну его.

— Что — да ну? Человек х тиебе ведь пришел, не к кому. Остальные-то сами в этот, как его, в Дом-то пионеров ходют, просто на карты смотреть там, не знаю, костры разжигать учиться. А он к тиебе сам. Когда заберет-то? А?

— Наташ, он не может никого забрать.

— Это почему?

— Не знаю. Но он же не... не папа. Не чей-нибудь папа.

Были мужчины здесь, о которых можно сказать: вот папа пришел, он уже папа, может быть папой. А про тридцатилетнего Лиса, пусть он и старше выглядит, пусть у него борода каштаново-рыжая, — разве скажешь?

— Ние знаю. Так ты будь с ним поласковее, посмиешнее. Знаешь, сейчас-то ребят полно-полниехонько, так што неласковых нихто не возьмие. Не делай рожу больно-то мрачной, за книжками не прячясь, успеешь еще начитаться. Ты и в спальню книги тащишь, я уж видела. Давай, давай, не прячясь.

И Наташка шутливо, но сильно так, ухватисто забирает книжку, это «Дети капитана Гранта», от которой все не оторвусь. Но сейчас будет Лис, и нужно быть посмешнее. Лис любит смеяться.

У Лиса рыжеватые волнистые волосы, такие длинные, каких никогда не видел, и потому еще народ смеется — как, такие длинные, да как может быть? Он мужик или баба вообще? Ха-ха. Но ведь на самом деле дураку понятно, что мужик. Взрослый мужик, у него, может, сын как я. Ну ладно, может, немного младше, может, он совсем маленький ребенок. Вдруг становится стыдно об этом думать.

Он потом объяснит, к чему длинные волосы.

Ты знаешь, кто такой Иэн Гиллан, спросит он. Я не знал, конечно, откуда, — но ведь никто не знал, и вообще Лису тоже неоткуда.

Мне приснился человек в длинной светлой рубашке, с длинными темными волосами, он стоял на сцене и пел. То есть наверняка это была сцена — пустое темное пространство, в котором видно только его.

И о чем же он пел, спрошу я.

Он пел о том, что, мол, я хочу сказать только одно: Господи, если есть какой-то способ сделать так, чтобы мне не принимать такие страшные страдания, то найди, пожалуйста, этот способ, ведь я так не хочу умирать. Я горю в огне, я уже не такой, как был вначале, я уже не так уверен. Но если, Господи, все-таки нет такого способа и я все-таки должен умереть, то объясни, почему это должно быть так больно и страшно, можно ли тогда хотя бы сделать так, чтобы не было так больно?

Но если ты не можешь ответить ни на один вопрос, то хотя бы убей меня сейчас, пока я не передумал.

А как же ты узнал, как зовут этого человека?

А я сразу понял, когда увидел. Мне снится человек по имени Иэн Гиллан, не знаю, кто он и откуда, даже не все слова песни понимаю — только приблизительный, произвольный смысл.

И после того сна понял, что у меня тоже будут длинные волосы, а коротко стричься должны только военные и государственные служащие, а если ты вольный человек, если ты обращаешься вот так к богу — то должно быть именно так.

Но вот появляется Лис, и, сам не знаю почему, не сусь навстречу и вижу перед собой бело-синий эмалевый значок *инструктор туризма* — раньше не мог разглядеть, а теперь вижу, что там узкий двуцветный пропеллер. Ледник и пропеллер, небо. Путешествуйте по горам Кавказа. Все видел в Доме пионеров, но только з^ипах — там пахло бумагой, старыми картами, крепкой заваркой, одеколоном, а тут — только Лисом, его рубашкой, его рассказами и разговорами.

— Ну что? Как оно?

Вечно встречал вопросами, на которые — ну что ответишь? Спал, ел, дрался, дулся, ничего не делал. Книжку читал. У Лиса-то жизнь, другая, веселая жизнь.

— Слушай, Лешк, а я тебя ведь отпросил на сегодня у начальницы твоей. Пойдешь гулять?

Захотелось крикнуть — да, да, конечно, почему ты спрашиваешь, иду гулять, могу прямо вот так побежать, в коротких форменных штанах, что мы в помещении здесь носим, но что-то заставило отстраниться, помолчать.

А отстранившись, спросить:

— Лис, мы одни пойдем?

— Нет, ну зачем — одни, одним не так весело будет, другим же тоже... интересно. Все пацаны пойдут, которые в секцию записаны. За город поедем. На автобусе.

— На автобусе... У меня денег нет на автобус.

— У меня есть.

— Ну я не знаю...

Лис сдвигает брови, невероятная его, золотая и радостная улыбка меркнет:

— Лешк, ты что, не хочешь гулять? Смотри, погода какая — скоро ведь не будет. Золотая осень, красота. Речку пойдем посмотреть, к морю спустимся, я дикий пляж знаю, где ни местных, ни туристов... Я, может, что-то о растениях расскажу, ты ж, небось, яблоню от груши не отличаешь? Вот и будем смотреть.

Как же — яблоню от груши... Яблоки-то все едят, зачем ерунду говорить? И груши видел: они гниют под ногами, быстро становятся несъедобными, каким-то белесомуравьиным месивом. Но не спорю.

Хочу гулять, но как сказать, не знаю. С кем поедем — неужели вот с этими? Они затаились, когда Лис пришел, все-таки сторонятся взрослого, прямо как Наташка, но она не из страха, а потому, что любит меня сильно: не хочет мешать, она скромная, Наташка.

Хочу, опускаю глаза — может, поймет? Но ведь стыдно только будет, если поймет. Подумает, что я только о себе думаю, что я как все, а человек не должен быть таким, а должен — хорошим товарищем, сильным и смелым. И эти, которые в секции, — они товарищи, я должен их любить. Может быть, и не именно любить, но точно обязан быть хорошим товарищем. Поэтому говорю — нет, Лис, что ты, Лис, конечно, пойду.

— Подождешь, пока переоденусь?

— Переоденешься, а что... А, ну да. Надо будет тебе приличную туристическую амуницию справить, а то как Гаврош бегаешь. Иди, я тут подожду.

— Бегаю — как что? Как кто?..

— Не знаешь, кто такой Гаврош? Ну ничего, я потом когда-нибудь расскажу. Поспеши.

Но только он, кажется, так и не рассказал никогда, а я сам узнал, когда прочитал Гюго. Но вообще-то я не был тогда похож на этого самого Гавроша — он смелый был, и одежда рваная была оттого, что на улице спал, а у меня чистенькая, неприметная, такая у всех парней была.

И я спешу. И после слов не то чтобы теплее становится, а просто думаю, что он же не скажет *всем*, что нужно амуницию покупать, это только для меня слова? И дело не в том, что хочет купить, у него самого денег нет, ну разве только на автобус, а потому что посмотрел, увидел, что для долгих прогулок у меня не очень подходящий вид, обратил внимание.

Я тогда куда угодно пойду, буду слушать про растения, про температуру воды в горной реке, про методы очистки воды, про все-все.

Натягиваю длинные штаны, рубашку поверх майки-соколки — кто его знает, почему соколки, а только так старшие пацаны говорили, а мы подхватили. Теплее одеваться смысла нет, и в этом-то заживо спекусь, но только ведь Наташа увидит, что мимо нее без ничего бегу, заругается.

Как так — без ничего, голышом, что ли? Смешно. Но только она говорит *без ништя*, и никто не смеется.

Стоило бы носки другие поискать, без дырок, но не ищу — Лис ждет. Бегу вприпрыжку, а он не один — стоит напротив Сонечка, маленькая, беленькая. И тут снова зло взяло: вообще Сонечка хорошая, нормальная девочка, она не шлялась ни с кем, не расковыривала прыщи, не воровала у воспитательниц карандаши для губ, вообще ничего такого не делала, просто сидела день-деньской на крылечке нашего корпуса или на качелях синих, скрипучих, не читала, не писала, не рисовала, только улыбалась странненько, отуманенно.

— Ого, уже собрался? — Лис кивает. — Молодец. Тут Соня с нами хочет идти. Не знаю, милая, ты же не в секции, отпустят ли? Я, конечно, попрошу...

Ты попросишь, думаю, конечно, тебе отдадут, кому она нужна; все рассчитывали, что Соню заберут быстро, потому как такая хорошенькая, беленькая, тихая, любит цветы поливать — вечно лужа на подоконнике стоит, вниз стекает, — но отчего-то не брали. Потому что, если с ней заговоришь, поздороваяешься просто — не услышишь ответа. Она не реагирует, моргает, редко-редко что-нибудь сама скажет, может, о еде что или об игрушках. Она из этих, ну, зэпээр. Тринадцать лет, а до сих пор в третьем классе. Никому плохого не делала, ничего, сама за собой следит, чистая, носит в ладошках цвет шиповника, какие-то листья, ягоды, что удастся найти, но люди, видно, не хотят такую. И только Лис со всем вниманием к ней, трепетно рассматривает ерунду всякую, что она во дворе на тропинках подбирает. Ой, что это у тебя? Ты знаешь, что это был такой жук, у которого... Да ты не бойся. Он мертвый, жук. Видишь? Но даже и тогда Сонечка не завизжит, не бросит жука с ладони на пол. Станет приглядываться, словно проверяя: точно ли мертвый?

Точно, точно.

Лис не обманет.

Он-то видел множество мертвых жуков на тропинках.

— Да берите ее с собой, Алексей Георгиевич, — вмешивается Наташка, — берите, берите, никого не спрашивайте. Она только с вами гуляет, с другими боится выходить.

— Но, Наташ, мы же далеко поедem... С пацанами, большими уже. Куда с девочкой? Нет, я с ней потом с радостью погуляю, но сейчас даже не знаю вот...

Соня с места не двинулась, не заплакала, не обиделась. Точно окаменевшее лицо у нее.

— Да ладно, Лис... то есть Алексей Георгиевич, — сам не ожидал от себя, говорю тихо, сдавленно, — давайте возьмем. Она вправду с нами никуда не выходит, за лето не загорела вон даже. А так Соня спокойная, неприятного ничего не будет. Я... то есть я буду присматривать, если хотите.

И тут Лис так посмотрел, что я понял — он хотел, чтобы я так сказал, он доволен, счастлив просто.

Конечно, спросил у директрисы, и мы ждали вдвоем, пока он спрашивал, даже пацаны потеряли интерес и пошли на обед, а я не смог пойти обедать, потому что неприлично, когда с минуты на минуту может вернуться человек, да и он все время в городе покупал какие-то вкусные вещи: сочники с творогом в кулинарии, жареные пирожки с мясом, маленькие груши, лимонад. А после обеда, к которому привык и что даже противно есть иногда, это все не покажется таким здоровским, когда вкус во рту от разваренных макарон, хлебных котлет, коточек из компота. А когда младше был, все любил. Все ел, даже пшеничный хлеб, который сейчас и вовсе возле тарелок оставить можно; только не оставляю. В прошлом интернате за такое по рукам били, за любое: хлеб просто на стол положишь, не на тарелку, — бац по рукам.

Раскрошишь слишком — по рукам. До синяков, до крови. То есть за разное били, тут как-то поспокойнее. Хотя и злые мужики-воспитатели есть, то есть не злые, а...

— Ну... — Он возвращается, улыбается нам с Соней. — Все хорошо, можем идти. Но вот что придумал, чтобы не так скучно, — бежим? А? Вот кто быстрее до остановки?

И сам первым припустился к выходу, не очень быстро: чтобы мы сумели догнать.

Стоим на остановке, а тут долго ждать — сажусь на бордюр, штаны в пыли испачкал, а Лис не посмотрел осуждающе: он первый, кому все равно, кто понимает, что я вовсе не вымажусь непоправимо, а если и пятна будут, отстираю сам под краном, зря, что ли, хозяйственное мыло на раковине лежит? Руки как-то не сразу привык мыть, что их мыть — в лесу, возле реки? А в интернате орут: мол, руки, мыло, чума, холера, дизентерия, а ну марш отмываться, чучело такое. Хотя ни разу ничего такого, ни разу. Разве что животы болели. Поэтому он не на меня смотрит, Лис, а на Соню, хотя это я должен смотреть, раз вызвался.

— Сонь, а ты знаешь, какое это дерево? — вдруг говорит Лис.

Показывает на сосну, господи, всякий дурак знает сосну, только не Сонечка. Она качает головой, улыбается. И ведь эта сосна видна отовсюду, из каждого окна, выходящего не во внутренний дворик, а сюда, на улицу.

А к забору вывезли Алену, я совсем забыл про Алену, подумал: блин, мало мне Сони, так тут еще и она. Но если не покажемся, если не покажусь сам — она не заметит. Плохо видит, да и голова часто запрокинута — нянечки говорят, что, если мы видим такое, нужно поправить, повернуть голову, а то Алена собственной слюной подавиться может, захлебнуться и умереть. Но она вечно запрокидывает, так что если бы могла захлебнуться, то уже

давно. Мы помогаем, понятно. Но кто-то стоит просто так, даже когда она явно хрипит, возится. Боятся, ну то есть говорят, что боятся, на самом деле — брезгают. У нее слюна по подбородку течет, и не капельками, а струей, а ее только Наташа и вытирает.

Вот так говорю, но отчего-то не противно. И никогда не было противно смотреть на человеческие лица, на всякие несчастья тела.

На самом деле Алене много лет, она должна не здесь находиться, а во взрослом приюте для таких людей, то есть если есть такое место для взрослых людей.

Ее прячут.

Мы прячем.

То есть у нас прячут, мы не можем ничего, не знаем.

Когда я впервые увидел Алену, было утро. Вышел из корпуса после зарядки, осмотрелся испуганно, вроде не было *никого*, а как хотелось забиться хоть на веранду, хоть куда-нибудь. Дождь накрапывал. Это был мой второй день в новом интернате.

Забиться бы.

Не разговаривать.

Не смотреть.

Коляска стояла под козырьком над входом, но капли все равно попадали на теплое коричневое одеяло, которым были укрыты ее ноги. Смотрел и смотрел, как дождь растекался, пропитывал понемногу, но если так дальше продолжится, то почти наверняка вымокнет, будет холодным и тяжелым, неприятным. Решил вначале, что в коляске сидит маленький ребенок, девочка лет восьми. Только смутили короткие толстые руки возле лица — никогда не видел, чтобы так прижимали, так держали.

Не знаю, почему не испугался.

У нее взрослое длинное и большое лицо, детское тело, потому и замер, когда увидел, но поздно: она заметила, но не приподняла головы, одними глазами посмотрела.

— Привет, — сказал.

— Привет.

У нее странный глухой голос, потом узнал — не потому, что простудилась, а всегда такой.

— Ты отсюда?

— Да.

— Я тоже теперь.

— Нравится?

— Да так, нормально. — Я пожал плечами. — Булочки вкусные вчера давали с маком. Поджаристые.

— А ты не ел такие раньше?

— Да нет. Там-то... там-то только хлеб был обычный.

(Потом Лис скажет: я тебя увидел очень худым, прозрачным, слишком маленьким для четырнадцати лет, потому пожалел. То есть не пожалел, конечно, а решил приглядеться повнимательнее. Поэтому про еду много спрашивал — а это, а это ты ешь? А пирожки? С чем больше любишь, с картошкой или с рисом и яйцом? Потом приносил много раз, всех в группе нашей кормил, я думал, его мама пекла или что-то вроде этого. Оказалось, в кулинарии покупал, но так только вкуснее — нет грустного, гнетущего, душу тянущего домашнего запаха, какой, бывало, чувствовался во всем, что приносила по праздникам Наташа. Воспитатели сквозь пальцы смотрели, хотя вообще-то не положено. Она приносила торты из печенья с вареной сгущенкой, взрослых тоже угощала. Почему-то они отказывались, отходили смущенно, хотя торты были очень вкусными, мы до крошечки с блюда подбирали.)

— Почему ты тут одна?

— А с кем надо?

— Не знаю... ну, с девочками. Девочки же все время вместе. Вместе ходят. В уборную там, всюду. С уроков отпрашиваются. А в каком ты классе?

Алена промолчала, повела бровями: потом я узнаю, что это у нее боль означает и нужно позвать кого-нибудь, чтобы сделали укол. Вслух она про боль тогда не говорила, и не заговорит никогда.

— Это что, секрет какой?

Снова зажмурилась.

Ладно, я решил, девочки иногда странные бывают, да и коляска эта, и руки, и ноги, и волосы, и...

— Хотел спросить, что с тобой случилось? Ты такая всегда была?

— Всегда, всегда была. Еще вопросы есть?

— Да. Сколько тебе лет?

— Двадцать семь.

В тот день, когда Лис пришел и позвал на прогулку к морю, мне уже пятнадцать исполнилось, а тогда было четырнадцать.

И я упал, нет, нет, не упал, просто отшатнулся. Она с нами жила, совершенно точно, ее наши же нянечки на улицу вывозили. А тут — взрослая, с ума сойти, двадцатисемилетняя. Почему? Не поверил, покачал головой.

— Хорошо гнать, — сказал откровенно, — тебе, наверное, тринадцать. Или четырнадцать. Четырнадцать, да? Говори.

Аленка промолчала, я немного обиделся — потом, потом узнаю, что она быстро устает от разговоров, может даже начать плакать.

— Леш, — окликает Лис, — о чем задумался? Мы автобус пропустили.

Моргаю, поднимаюсь с бордюра, что, взаправду пропустили?

Прости.

— Нет, ну ладно, шучу я, если бы автобус подошел, мы бы тебя растолкали, правда, Сонь?

Она кивает.

Никому и никогда, только Лису.

Ты знаешь, что ты волшебник?

Она ведь не слышит, когда обращаются, — даже когда приходит специальный педагог, который умеет учить таких детей, раскладывает перед ней предметы, пирамидки, кубики всякие, просит: Соня, возьми, пожалуйста, красное кольцо; Соня, возьми с ковра что-нибудь круглое. И она берет, но только как хочется самой, не круглое и не квадратное, а случайное. И даже тогда педагог ее почему-то не ругает, а снова и снова терпеливо повторяет — возьми с пола красное кольцо, Соня. Красное. Нет, красное. Потом педагог перестал приходить, а воспитатели с ней не занимались совсем. Про уроки не знаю, что ей в третьем классе делать? Надеюсь, они хотя бы не слишком ржут над ней.

Я иногда думаю: вдруг Соня просто не понимает, что такое красное? Хочет взять, хочет быть хорошей, полезной, правильной — но просто ей все равно, все одинаково? Ведь всматривается же она в землю, различает почки, косточки, насекомых, а они гораздо меньше и сложнее красного кольца, она наверняка скоро и сосну запомнит, и можжевельник, если Лис захочет? И уж точно отличит яблоню от груши? Может быть, ей просто неинтересно сидеть на ковре с педагогом и искать предметы?

Даже не знаю, если честно, как это она учится в третьем классе.

Я в третьем классе...

— Леш, ну ты снова задумался. А теперь на самом деле автобус едет, готовься. Знакомую увидел? Эту девочку?

— Да, знакомую. Ее зовут Алена.

— Алена. — Лис как-то странно смотрит на меня. — Хотел бы, чтобы мы ее с собой взяли?

— Ну а как, — я рассуждаю, рассудительно говорю, — на мне Соня, а ты должен будешь следить за всеми. Мы будем учиться разводить костры?

— Да, да. Конечно.

Он как-то растерянно заговорил, все оглядываясь на коляску Алены.

— Слушай, если ты думаешь, что мы на самом деле должны ее взять, тогда...

— Ну автобус подъезжает же, мы не успеем, — обрываю, хотя и невежливо, нельзя со взрослыми.

Но это же Лис. Он все-все понимает: даже когда я страшно невежливый, когда говорю мерзкие слова.

И сам первымдвигаюсь к дороге, проследив, чтобы Соня тоже шла. В автобусе сажаю ее сразу, но перед тем, как дверь закрывается, успеваю в последний раз оглянуться на Алену — она что-то беззвучно кричит. То есть, наверное, и на самом деле кричит, но уже глуховато, через воздух и закрытую дверь шевелит губами:

— Гонорейный, — слышу.

Эй ты, гонорейный.

Она от обиды, а на самом деле никогда не слышал от Аленки обидного.

И я поднимаю руку, прикрываю рот, губы, чтобы никому больше не было видно. Там прыщики, говорю. Гонорейные отвратительные прыщики.

— Ты что такой надутый едешь? Сейчас в Дом заедем, возьмем амуницию, спички. А то куда без спичек. Хотел сразу взять, но не знал, отпустят ли вас...

(Как будто когда-то не отпускали. Директриса молится на Лиса — ха, директриса молится на Лиса, смешно получилось. На самом деле он хочет нас, как это, к самостоятельности приучить, чтобы на себя

рассчитывали, на свое *мужество*. Но потом, через несколько минут, он уже сочувственно посмотрел — будто тоже разобрал немой крик *гонорейный* и не знает, как утешить.)

Гонорейный, *гонерейный* — это какой?

Это плохой.

*

Когда Маша заходит, начинаю плакать. Не вижу ее, а только думаю: ведь можно было что-то придумать, дурак, слюняй, дверь изнутри подпереть, забаррикадировать, не знаю. Маша может очень быстро открыть, и все равно, чем я тут занимаюсь. Одно время полюбил себя ласкать, ну, просто от тоски, вроде как после этого чуть легче становилось, так Маша вернулась неожиданно с работы, тихо открыла и вошла. И увидела.

Не стыдила, глаза отвела.

Потом сама извинялась — мол, что ж это она, надо было хоть звонком предупредить, хоть стуком, и она все понимает, что и врач говорит, что нормальное, обычное дело, а потом я и по-настоящему захочу, с женщиной, то есть с женой. Но я никогда не захочу по-настоящему, мы оба знаем.

Однажды Маша разделась при мне — и раньше раздевалась, *до всего*, а потом стала вести себя как с ребенком, с пациентом. Стала спать в другой комнате, переодевалась только там или в ванной, не расхаживала по квартире голышом. И вот несколько месяцев назад, кажется, решила, что стоит попробовать, — не вовсе же у меня атрофировалось, может, мы сумеем вернуть *частные супружеские отношения*. Она стояла возле письменного стола и вдруг стянула футболку через голову, осталась в черных жестких джинсах и белом большом лифчике, таком плотном, с огромными чашечками — из тех, что женщины продают у метро, я-то всегда думал, что там старухи какие покупают, но оказалось, что и она. Она расстегнула лифчик, и вот уже заскользил

взглядом по сморщенным коричневым соскам, темным воспаленным пупырышкам, редким темным волоскам. Раньше не видел.

Она застыла с поднятыми руками, чего ты? — спросил, хотел спросить. А потом увидел, что у нее по всему телу, по всей бледной неплотной коже черные родинки, похожие на льняное семя, и они облепили ее всю.

Дернулся, заметила. Опустила руки. Что, сказала, совсем никак теперь? Тебе противно? Мне — было — стало — оказалось — противно, невероятно противно, до тошноты. Но как притворился, как виртуозно сделал вид, что ничего не происходит, смутился, опустил глаза.

А всё родинки — так и ждешь, что они по коже побегут, перекинутся на меня.

Так противно, настаивала она. Слезы под глазами собрались, хотя я не помню, чтобы она плакала раньше. Помню, впрочем, ее глаза, когда после обморока очнулся, просто проснулся в больнице, но не словно после сна, они другие стали. Странно, но я совсем не хотел, чтобы кто-то еще так *ощущал*, даже она, потому что никто не имел права. Она могла только сочувственно смотреть на меня, в мою стору, брать за руку. Не подходить, не досаждать бытовыми заботами, не заговаривать первой, ожидая, когда сам. Потому что только мое горе неподдельно.

Но тогда, когда я смотрел на родинки Маши, она заплакала. Сразу же надела футболку обратно, убежала на кухню. А у меня перед глазами стояли — черные точки, белая кожа, красноватые следы от лифчика, глубоко вдавленные в тело.

Удивительным образом все в голове проносится, когда она заходит, и сам плачу, вспоминая.

Противно?

Раньше не было противно — и из-за чего тут чувствовать отвращение, из-за родинок? Видел в больнице уродливые растяжки на животах мужчин, ноги, мокрые от подтекающих мочеиспускателей, — ничего, не брезговал.